

Гоголь и русская консервативная мысль

Выстраивая в «Выбранных местах из переписки с друзьями» свою историю «русской поэзии», а, в сущности, историю отечественной литературы, Гоголь, упомянув П.А. Вяземского, выделил его книгу о Фонвизине, сказав: «Там слышен, в одно и то же время, политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни, словом – все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем» (VIII, 391). Как всегда, предложенная писателем характеристика конкретного явления тяготеет к выявлению «высшего» его значения и смысла. Это позволяло Гоголю органично входить в контекст русской мысли 1840-х гг. и, вместе с тем, не растворяться в ней, не становиться идеологом, чаще всего вынужденным выбирать какой-либо один статус – политика, философа, практика и т.д. Русская консервативная мысль к этому десятилетию уже имела свою историю, и хотя все разнообразие поисков было еще впереди, основные позиции уже определились.

Понятие русского консерватизма достаточно объемно и находит освещение (особенно в последнее время) в обширном круге исследований¹. По признанию современных историков и социологов, предпосылки анализа самого понятия «консерватизм» создали немецкий социолог Карл Мангейм, польский историк Ежи Шацкий, американский исследователь русской общественной мысли Анджей Валицкий². Прослеживается и история консервативной мысли от ее основателя в Западной Европе Э.Бёрка, Н.М.Карамзина и А.С.Шишкова в отечественной традиции (по мнению некоторых исследователей, российский консерватизм берет свое начало в XV-ом, а, возможно, еще в XI в., имея родоначальником митрополита Иллариона), через Ж. де Местра, Л. де Бональда, А.Мюллера и др. в Европе и С.С.Уварова М.П. Погодина, С.П.Шевырева, славянофилов у нас до

открывающего уже новое столетие Л.А.Тихомирова (не говоря уже о направлениях консервативной мысли XX в.).

Тема «Гоголь и консерватизм» представляется оправданной и актуальной не потому, что нова, а скорее, потому, что подчас толкуется односторонне и не всегда способствует уяснению существенных аспектов гоголевского творчества. Близость мировоззренческих позиций Гоголя, особенно в последнее десятилетие творчества, и идеологов консервативной мысли не подлежит сомнению. Следовательно, дело не в констатации дополнительных проявлений этой близости и ее аргументации. Существеннее другое – уяснение **места** Гоголя в истории, а точнее – в **движении** русской консервативной мысли и выявление **специфики функционирования** его собственной мысли (теоретической и художественной одновременно) - в концепции, выстраиваемой на протяжении длительного времени отечественными мыслителями.

Какой контекст оказался наиболее близок Гоголю, говорившему о «значении полномощного монарха» (VIII, 252), национальной истории, особой роли церкви? На первый взгляд, это контекст Н.М.Карамзина, автора «Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1810), и С.С. Уварова, сформулировавшего в первой половине 1830-х гг. «теорию официальной народности». Труды Карамзина были предметом постоянного внимания Гоголя. В.А.Виноградов установил, что почти половина дошедших до нас гоголевских набросков по славянской, русской и украинской истории состоит из выписок и заметок при чтении «Истории государства российского»³. Многие в концепции Карамзина, изложенной в «Записке...», близко Гоголю. Это, прежде всего, убеждение в сакральной природе монархической власти, видение русской истории как неразрывно связанной с самодержавием (оно «основало и воскресило Россию»⁴), отстаивание национальной самобытности («дух народный составляет нравственное могущество государств»⁵), понимание необходимой

соразмерности между новациями и традицией, признание особой роли русского дворянства.

Теория С.С.Уварова, как известно, выражала не столько собственно его позицию, сколько формулировала понимание Николаем I структуры русской государственности и истории. Гоголь к правящему российскому императору относился не только лояльно, но явно позитивно. И.А.Виноградов, прослеживая в обстоятельной работе прежде всего историю **взаимоотношений** Гоголя и Уварова, обратил внимание на общность взглядов и на некоторые формы сотрудничества писателя и министра народного просвещения⁶. При этом, правда, оказывается, что если на первый план выносить факты сотрудничества и общения, Гоголь может показаться неким исполнителем «заказов», не обязательно даже высказанных Уваровым, а как бы интуитивно угаданных писателем. В этом контексте чуть ли не все статьи Гоголя первой половины 1830-х гг. оказываются воплощением или защитой триады «Православие, самодержавие, народность». В таком случае, правомерен вопрос: если идеологическая концепция Уварова столь близка Гоголю (как в 1830-е, так и в 1840-е гг.) и так органична для его творчества, а писатель идеально вписывался в контекст русской жизни той поры, то что же его мучило, откуда драматизм последних лет? Ведь не сжигал же Уваров своих трудов ни в преддверии свой кончины, ни раньше, когда отошел от арзамасской буффонады и эстетического фрондерства.

Остается, естественно, предположить, что консервативные убеждения не исчерпывают мировоззрения писателя, как и стиль его мышления в целом, а, кроме того, и это, думается, главное, могут находить различные формы выражения, уточняющие и содержание мысли. С одной стороны, можно говорить о консервативном мировоззрении Гоголя, все более укрепляющимся: сознательно и опираясь на память культуры, он синтезирует накопленный мыслителями опыт. Но, с другой стороны, можно видеть, что его движение от 1830-х к 1840-м гг. – это движение от индивидуального восприятия и интерпретации этого опыта к построению **своей** концепции, не

претендующей на абсолютную новизну, однако явно дистанцирующейся от чужого знания.

В статьях «Арабесок» Гоголь очерчивает образ единоличного правителя и делает это достаточно обобщенно. Каков конкретный статус, наименование лица, оказывающегося во главе государства, нации (калиф, папа, государь), – второстепенно, но «когда всеобщий хаос переворота очищается и проясняется», «власть папы подрывается и падает», и «пред изумленными очами являются монархи, держащие мощною рукою свои скипетры» (VIII, 24-25. Здесь и далее выделено мною – Е.А.). Внимание к монарху, как видим, зафиксировано в статье «О средних веках», а далее, когда будет вызревать замысел **новой** книги, монарх российский также начнет последовательно занимать сознание Гоголя. Рассуждения о монархе Гоголь помещает в главу «О лиризме наших поэтов». В этом для автора «Выбранных мест» есть своя логика: он, как известно, ведет речь о «высшем состоянии лиризма» «наших поэтов», выявляя в этом лиризме «что-то близкое к библейскому» (VIII, 249). Называя два таких «предмета» поэтов как «Россия» и «любовь к царю», Гоголь последнему уделяет внимания чуть ли не более, чем первому, но, по сути, говорит не столько о **любви** к царю, сколько о самом царе, при этом, упомянув российского императора, достаточно резко прерывает эту тему: «Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще» (VIII, 254). И далее, при сохранении монологической формы, в тексте развертывается чуть ли не состязание двух позиций, двух возможных ракурсов в решении темы. «Споры» автором «Выбранных мест» принципиально отвергнуты, но при этом глава звучит именно как слово в **общем**, многоголосом, или, во всяком случае, двухголосом сложном споре. Один из голосов – «государственных людей», «законоискусников и правоведцев» (VIII, 256), то есть мыслителей, представляющих историческое знание (и видящих в монархе высшего чиновника в государстве), другой – поэтов, прозревающих «значение высшее монарха» (VIII, 255). Гоголевский монарх, обретающий постепенно и последовательно «всемогущий голос

любви», оказывается призван стать «образом Того на земле, Который Сам есть любовь» (VIII, 256). Именно это значение «прозревают» поэты, это значение может угадывать и народ, но ни у правоведов, ни у мыслителей Гоголь, похоже, его не находит. Сакрализация верховной власти имела в России давнюю традицию, однако Гоголю было недостаточно констатации и признания этой концепции. Речь шла не только о происхождении власти и отношении к ней, но об истолковании ее возможностей, ее существа (Гоголь, пожалуй, мог бы написать главу «В чем же наконец существо высшей власти и в чем особенность»).

Как оказывается, без поэтов эта природа власти оказалась бы не вполне очевидной, хотя и не определено точно, «прозревают» ли они ее, созидают или утопически конструируют. В этих отношениях власти и поэтов остается некая тайна, не определяемая словом мыслителя. Можно вспомнить, что слово «тайна» не раз встречается в контексте книги: красота женщины предстает как тайна, поэзия несет в себе тайну. Таким образом, поэты, обращая свое внимание на монарха, невольно высвечивают тайну, загадку этого явления, порожденного историей.

Конечно, в итоге можно было бы сказать, что все это еще бесспорнее подкрепляет позиции исследователей, сближающих Гоголя с Уваровым (или иными консерваторами): ведь он, вооруженный возможностями художника, в триаде «Православие, самодержавие, народность» каждому из составляющих ее придает ту значимость и действенность, которые «чистым» мыслителем вряд ли предполагались. Можно сказать, что он воплощает, озвучивает в Новое время концепцию сакрализации власти, сложившуюся в древнюю эпоху и продолженную в Средние века. Но, думается, отличие именно в том, что при всей определенности, подчас категоричности высказываний Гоголя, они по смыслу (можно сказать, по духу) – динамичны и открыты для толкований, они чужды исчерпывающей завершенности. Они, еще раз отметим, помещены в контекст поэзии и, следовательно, допускают, или даже требуют, чтобы их судили по законам эстетики.

Чтобы понять, **как** ставятся и излагаются те или иные вопросы Гоголем, обратимся к понятиям, наиболее значимым для контекста позднего творчества писателя. В аспекте рассматриваемой темы это прежде всего понятия монарха, церкви, государства. Не прослеживая ближайший контекст каждого из этих понятий, отметим семантическое наполнение их и угол зрения, под которым они видятся. Каковы составляющие «монарха»? Он наделен у Гоголя той мерой ответственности, прощения, любви и, как бы ни казалось странным, - страдания, а вместе с тем – власти, которая, как мы сразу можем понять, несоизмерима с обычным человеческим статусом. Не случайно речь идет не только о «страшной ответственности <...> перед Богом», но и об «ужасе этой ответственности» (VIII, 254). Вместе с тем, неоднократно апеллируя к Пушкину, Гоголь невольно учитывает постановку проблемы власти и народа в «Борисе Годунове», говоря: «...Они (государь и народ - Е.А) глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого» (VIII, 256). Соседство таких понятий как «противники», «повелитель» - и «подвиг любви» выстраивают некую новую форму государственных отношений, предлагая и новое **измерение** ее. «Власть в ее полном и совершенном виде» (VIII, 257), преодолевшая антагонизм «государя и народа» - это все же не российское самодержавие первой половины XIX в., а, вместе с тем, это и не знакомая русским читателям утопия.

Понятие государства в данном контексте является если не лишним, то второстепенным (попытка обрисовать его возможную и одновременно идеальную структуру была предпринята Гоголем в работе «О сословиях в государстве», но не доведена до конца). В «Выбранных местах» государство, о котором лишь сказано, что оно должно быть цельным «организмом», которому присуща «согласная стройность» его составляющих, в сущности, потеснено, если не заменено обществом: переакцентировка знаменательная и объяснимая литературной природой произведения: размышления о роли общественного мнения велись на протяжении всего столетия, и, прежде

всего, в среде тех мыслителей и общественных деятелей, которые в той или иной мере были связаны если не с художественной литературой, то с литературным трудом. А разговор о церкви выстраивается не столько в содержательном, сколько, говоря условно, в формальном плане: раскрыта не программа, не концепция, не вероучение, а форма самовыражения – позиция «величавого спокойствия», отдаления, уединения «в глубине монастырей и в тишине келий» (VIII, 245), духовного воспитания «в глубоком внутреннем созерцании» (VIII, 248). Констатируется именно **форма бытия**, в котором, по Гоголю, проступает самобытность и особость национального развития.

При такой постановке вопроса исключается исчерпанность его истолкования в содержательном плане. Утверждается исходный, устойчивый смысл явлений, обусловленный единой истиной, но не менее значимым оказывается **постижение** этих смыслов, которое может оказаться бесконечным. Можно предположить, что Гоголь знанию историческому и идеологическому (представленному, скажем, в работах С.С.Уварова) противопоставляет знание богословское, синтезированное с литературным, эстетическим: истина не размыта, но не догматична; плодотворным оказывается не само по себе знание, а постижение его, приближение к сокровенным смыслам, требующее личного участия, «дела души». Идеология официальной народности вряд ли подобное предполагала. Гоголем же и ученый мыслится как тот истинный христианин, который постоянно «идет вперед» (VIII, 264) и ощущает себя «учеником», и «вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья» (VIII, 266).

На первый план выходит личный выбор, а не принятие концепции, сколь бы безупречной она ни казалась. Один из важнейших импульсов к созданию нового произведения – «услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России» (VIII, 291). Поэтому и русская тема звучит у Гоголя по-особому. «Нужно любить Россию» - лейтмотив книги, но, оказывается, все дело в том, **как** сказать об этом и чем подкрепить «любовь». Совет «проездить по России» предварен наказом: «...Выбросьте из вашей головы

все до одного ваши мнения о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую, дотеле вам неизвестную землю» (VIII,303). Позиции славянофильские и западнические Гоголь позволяет себе подчас уравнивать, также акцентируя личную позицию современника, а не содержание идей, то есть оспаривая не теорию, а форму обращения с нею: «И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста <...> получить выгодное место» - VIII, 263).

Подобная постановка вопроса (**как** формулировать и воплощать идею) предшественниками и современниками писателя столь принципиально не заострялась. Поэтому ожидания Гоголя устремлены не на политиков и теоретиков, а на поэтов, которым привычнее думать о том, «что такое слово».

Если искать наиболее близкий к гоголевскому контекст, то думается, что им окажется все же контекст славянофильский, не столько как предпочтительный для самого писателя, сколько объективно, по духу, с ним наиболее соприкасающийся, несмотря на то, что истолкование монархии и государства у Гоголя и славянофилов достаточно различно.

Хотя и возникали сомнения в правомерности отнесения славянофилов к консерваторам, поскольку либеральные настроения так же легко усмотреть в их работах, думается, сомневаться в консерватизме славянофилов нет оснований, но создается впечатление, что идеи консерватизма постоянно проблематизируются в славянофильских трудах. Записка К.С.Аксакова «О внутреннем состоянии России», созданная в самом начале нового царствования (1855), поддержанная, правда, далеко не полностью другими славянофилами⁷ (скорее всего, в силу безапелляционности суждений автора, а не в силу идейных разногласий), выразила наиболее определенно взгляд на государство как на некий механизм, выполняющий прежде всего внешние функции. Казалось бы, это прямо противоположное гоголевскому стройному «организму», поддерживающему сакральную власть монарха. Однако, противопоставляя «государство» и «землю», Аксаков отстаивал прежде всего

«не-политическую», «внутреннюю общественную жизнь» народа⁸. Как и Гоголю, Аксакову важно оспорить сложившийся угол зрения на проблему. Заявляя, что «политического элемента в Русском народе нет», он отрицает некую сложившуюся систему оценок, в соответствии с которой отсутствие политического начала в народе может свидетельствовать **либо** о духе рабства, **либо** о духе «законного порядка». И те, и другие, комментирует Аксаков, ошибаются, «ибо судят так о России по западным взглядам либерализма и консерватизма <...> но и тот, и другой суть точки зрения нам чуждые; и тот и другой, суть противоположные стороны политического духа»⁹.

В работах славянофилов отчетливо обозначается комплекс вопросов, который для идеологов консервативной мысли был либо на периферии, либо вовсе не занимал их сознание. Как и Гоголя, их более всего интересовал вопрос о «нашей **внутренней** болезни» (выражение из статьи Хомякова 1846 г. «О возможности русской художественной школы»). К.Аксаков приглашает и читателей, и власть к разговору «о **внутреннем** состоянии страны». Хомяков квалифицирует современную эпоху как переломную («время ясного сознания нашей **внутренней** болезни наступило»¹⁰). И для Гоголя, и для славянофилов, при всем их различии, вопросы внутренней жизни неотделимы от религиозного самосознания (как отдельного человека, так и нации).

Славянофилов, как и автора «Выбранных мест...», занимает «душевное хозяйство» (VIII, 265). Вместе с тем, категория общества и для славянофилов, и для Гоголя – наиважнейшая. Поэтому Гоголь пребывает в ожидании времени, «когда мысль о внутреннем построении человека < ... > сделается, наконец, у нас общею по всей России и равно желанною всем» (VIII, 405). Обустройство «настоящего» - смысловой центр позднего Гоголя, поэтому пафос «**познания России**» - единый для славянофилов и писателя. Знаменательна фраза Гоголя: «Введите же хотя меня в познание настоящего» (VIII, 320); «хотя меня» - если уж государственники и политики не спешат узнать настоящее. В отношении России и Гоголь, и любой славянофил

ощущают себя **одновременно** и учеником, и учителем, что не позволяет говорить об их совпадении с той или иной **официальной** позицией, даже если имеют место содержательные совпадения. Это позиция глубоко личного выбора, а не идеологического самоопределения.

Если возвращаться к уровню идеологии, то можно предположить, что гоголевская интерпретация монархии предваряет концепцию мыслителя совсем иного рода – Льва Тихомирова. Родившийся в год смерти Гоголя, Л.А.Тихомиров, как известно, от народовольческой юности, когда он был не только участником, но и идеологом, составителем программных документов «Народной воли», движется к монархической позиции, выраженной им в целостных текстах: «Единоличная власть как принцип государственного строения» и «Монархическая государственность». Разочарование в прошлом и смена убеждений запечатлена в труде «Почему я перестал быть революционером» (1888), вызвавшем у бывших соратников предположение, что Тихомиров «заболел психически» (В.Фигнер).

Здесь напрашиваются некоторые соблазнительные параллели с Гоголем: с признанием в «Выбранных местах» бесполезности всего, прежде написанного, желанием исповедально раскрыть свой путь, означающий преодоление заблуждений; с готовностью изложить новую программу убеждений и действий. Можно даже отметить ряд смысловых переключек в политической исповеди Тихомирова и литературной – Гоголя. У Тихомирова читаем: «Фантазерское состояние ума, обычное во всем среднем образовании нашем, достигает высшего выражения у революционеров. Тут романтизм мирозерцания доходит до последних пределов. Действительность всецело рассматривается сквозь призму теории»¹¹. «Зачем вам с вашей пылкой душой, - вопрошал Гоголь Белинского в черновой редакции письма, являющего откликом на Зальцбруннское послание критика, - вдаваться в этот омут политический, в эти мутные события современности, среди которой и твердая осмотрительная многосторонность теряется? Как с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим

прежде, чем еще успели узнать, что есть истина, как вам не потеряться? ... Что, если и я виноват, что, если и мои сочинения послужили вам к заблуждению?» (XIII, 435-436).

Но дело все-таки не в этих, достаточно относительных схождениях. Представляется, что тихомировская концепция монархии сложилась в ходе внутреннего развития автора, но одновременно - и как результат обобщения (быть может, отчасти бессознательного) отечественных монархических концепций, включая литературные, прежде всего, гоголевскую. Защищая органичность, последовательность исторического развития, сохранение традиционных форм общественного организма и культуры, Тихомиров выходил к тем аспектам власти, которые, конечно, до него уже становились предметом внимания, но либо интерпретировались иначе, либо не были до такой степени заострены. Это акцент на этических началах монархической власти, а также на нераздельности нравственного и религиозного. В своих объемных трудах Тихомиров ведет речь о «нравственной идее» как «высшем принципе», который должен определять все стороны жизни нации, цементируемой монархическим правлением. В построениях Тихомирова рассуждения о монархии по смыслу чуть ли не дублируют гоголевские, например, суждение автора «Монархической государственности о том, что «монархия по природе своей является представительницей нравственного идеала, как начало, всех **примиряющее**, а это есть действительно высший, наиболее могучий принцип примирения частных интересов»¹².

Но стоит вспомнить начало незавершенного трактата Гоголя «О сословиях в государстве»: «Прошло то время, когда идеализировали и мечтали о разного рода правлениях, и умные люди, обольщенные формами, бывшими у других народов, горячо проповедовали: одни – совершенную демократию, другие – монархию, третьи – аристократию...» (VIII, 489). Монархия упомянута в этом ряду как **одна из форм**, а идеализация любой из них предстает как историческая крайность, если не опрометчивость. Правда, монархия, по Гоголю, - та форма правления, которая на Руси образовалась

«нечувствительно, сама собой, из духа и свойств самого народа» (там же), но писатель, в сущности, выстраивает некую идеальную форму, отличную от монархии как определенного государственного устройства. Можно сказать, что он строит «величественное здание» (так в ранней статье были названы новые века, идущие на смену века средним) величественное здание государства, которое, при всей его опоре на традиционные, историей освященные формы, было бы **новым** по существу, как новый человек отменял ветхого. Идеологическое ли это построение или все же нечто иное? Удалось ли Гоголю выйти за рамки политических построений, или использование общеизвестных категорий все же неизбежно предопределяло и известную логику рассуждений? Это можно сформулировать как открытый вопрос, но в этом случае предметом обсуждения может стать уже не только личная позиция Гоголя, но объективно складывающийся «механизм» взаимодействия идеологической и творческой мысли, не позволяющей оценивать именно и только позицию конкретного писателя.

Примечания

¹ См.: *Галкин А.А. Рахимир П.Ю.* Консерватизм в прошлом и настоящем. О социальных корнях консервативной волны. М., 1987; Гусев В.А. Консервативные идеологии // СОЦИС. 1994. № 11. С.129-135; Российские консерваторы. М., 1997; Исторические метаморфозы консерватизма. Пермь, 1998; Ермашов Д.В., Ширинянц А.А. У истоков российского консерватизма. Н.М.Карамзин. М., 1999; Репников А.В. Консервативная концепция российской государственности. М., 1999; Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. Под ред. В.Я.Гросула. М., 2000; Консерватизм в России и в мире: прошлое и настоящее. Сб. научн. трудов. Вып. I. Воронеж, 2001; Русский консерватизм в литературе и общественной мысли XIX века. М., 2003.

² *Манхейм К.* Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С.572-668; Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990; Реферативное изложение книги А.Валицкого «В кругу консервативной утопии», вышедшей в Варшаве в 1964 г., см.: Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Вып. I. М., 1991.

³ *Виноградов И.А.* Гоголь – художник и мыслитель. Христианские основы мирозерцания. М., 2000. С.89.

⁴ *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 48.

⁵ Там же. С. 32. Рассматривая связь Гоголя с консервативной традицией, В.А.Китаев указывает на возможное влияние Н.М.Карамзина и позднего Пушкина (Китаев В.А. XIX век: Пути русской мысли. Нижний Новгород, 2008. С.45-59).

⁶ *Виноградов И.А.* Н.В.Гоголь и С.С.Уваров: из истории взаимоотношений // Российский консерватизм в литературе и общественной мысли XIX века. М., 2003. С. 127-149. См. об Уварове также: *Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Сергеевич Уваров и его время. СПб., 1999.

⁷ См.: *Цимбаев Н.И.* Записка К.С.Аксакова «О внутреннем состоянии России» и ее место в идеологии славянофильства // Вестник Московского университета. История. 1972. № 2. С. 47-60.

⁸ *Аксаков К.С.* Записка «О внутреннем состоянии России» // Теория государства у славянофилов. Сб. статей. СПб., 1898. С. 25.

⁹ Там же.

¹⁰ *Хомяков А.С.* О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 146.

¹¹ *Тихомиров Л.А.* Почему я перестал быть революционером // Ермашов Д.В., Пролубников А.В., Ширинянц А.А. Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века: Л.А.Тихомиров. М., 1999. С.97.

¹² *Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность. М., 2006. С. 388.